

К 70-летию Владимира Молчанова

Владимир Молчанов отмечает семидесятилетие и делает это в статусе человека занятого настолько, насколько это возможно в период пандемии. Когда Владимира Кирилловича называют легендой российского телевидения, то здесь нет никакого пафоса, потому что это правда. Его рабочее досье впечатляет, а полное отсутствие соответствующего заслугам налета бронзы изрядно удивляет. Простой, приятный человек, что большая редкость среди персон молчановского калибра.



Владимир Кириллович снова становится москвичом, когда по рабочим делам меняет спокойствие дома в Подмоскowie на суету Центрального административного округа. Он энергично перемещается по своей квартире в легендарном композиторском доме на улице Чайнова и пытается с помощью смартфона разобраться с потоком электронных писем. Но даже в этой рутине Владимиру Молчанову удастся сохранить осанку светского льва и ни на минуту не забывать о своей фирменной самоиронии. Именно таким он ворвался в телевизионную жизнь перестроечного СССР с программой «До и после полуночи». Таким он остался в своих проектах, которые были после суперпопулярной программы. Такой он и в своем домашнем кресле во время интервью «МК».

– Ученые, которые занимаются человеческим возрастом, в последнее время все дальше отодвигают то, что обычно называют старостью. Сейчас молодежью рекомендовано называть людей до сорока пяти лет. Следующие пятнадцать лет – средний возраст. Тех, кому от шестидесяти до семидесяти пяти, относят к представителям зрелого возраста. Потом – преклонный, а тех,

кому больше девяноста, называют долгожителями. Для вас такая градация подходит?

– У нас так уже было, когда брежневское Политбюро сидело до последнего (смеется). Кстати, некоторым из них я переводил. У меня же первый язык – голландский, и вот пару раз я работал с Суловым, переводил Щербицкому, Алиеву. Лучше меня голландский язык знал только мой педагог. Три рубля в день платили, так что было замечательно.

А о старости, на мой взгляд, главное не думать. Все равно ведь что-то болит. Недалеко от моей деревни Старая Руза есть олимпийский бассейн, и когда я там, то каждый день плаваю по километру. Плюс пару раз в год летаю в Шарм-эль-Шейх на рыб посмотреть и там проплываю по пять километров. И вот когда я не ходил в бассейн – он был закрыт пять месяцев, то понял, что с телом что-то не то. Видимо останавливаться нельзя. А так возраст я совершенно не ощущаю; наверное, стал немного брюзжать, слава богу, нет старческой агрессии, которая у некоторых моих друзей появилась.

– Вам, вероятно, помогает еще и молодежное окружение: вы же уже пять лет преподаете в вузах...

– Наверное, студенты мне и правда что-то дают. От них я слышу новые слова, имена всяких рэперов... И меня, конечно, слушают – все-таки я могу рассказать то, что они в школе не проходили. Они почти не знают, что происходило в 91-м и 93-м годах около Белого дома. С ними толком и пошутить нельзя. Когда говоришь: «Аннушка пролила масло», они просто не понимают, о чем идет речь, для них это пустой звук, потому что Булгакова не читали. И это, между прочим, будущие журналисты – у меня же мастерские журналистики в нескольких вузах.

– Видимо, вы из тех, кому покой только снится?

– Я с четырнадцати лет работаю. Когда играл в теннис, получал стипендию, которая была больше зарплаты в АПН, куда я пришел по окончании университета. В четырнадцать лет мне платили сто

сорок рублей, плюс три рубля в день талон на питание и шоколадку. И вот сидел я в АПН и думал: зачем учился-то шесть лет в университете, чтобы потом получать меньше, чем за спорт... Так что я всегда работал, и вот этот период, когда работа прекратилась, для меня трудный. Всякие Зумы – это, конечно, любопытно, но главное, чтобы так медиков не учили (смеется).

– Все мы и в самом деле переживаем довольно странный опыт. За то время, что вы занимаетесь журналистикой, рухнула империя, и на ее обломках возникли другие страны, на телевидении случилось несколько революций, а технологии удивляли, как произведения фантастов. Можете ли вы сравнить то, что мы переживаем сейчас, с какими-нибудь событиями из вашей насыщенной жизни?

– Пожалуй, сравнить все это мне не с чем. Сталин умер, когда мне было два с половиной года, поэтому я его не помню. Помню Хрущева, помню день убийства Кеннеди. Когда папа вошел в комнату и сообщил об этом, Кеннеди стал моим кумиром. Я тогда написал, что у меня два кумира: первый – ближайший друг родителей, главный хирург института Склифосовского Борис Александрович Петров, второй – Кеннеди. Помню вторжение в Чехословакию, помню Афганистан. Я был ночным дежурным и принес своему редактору сообщение о высадке нашего контингента войск. И мы не сразу поняли, что вообще произошло. Я и на войнах был, снимал в десяти тюрьмах, в том числе в тех, где сидят убийцы на пожизненном сроке. Но это все другое. А вот с таким, как сейчас, я никогда не сталкивался.

– Тем не менее вы не похожи на растерянного и испуганного человека. Вам и чувство юмора не изменяет...

– Я много работал и хорошо зарабатывал, и у нас с женой есть накопления, но как живут пенсионеры со своей надбавкой в четыре тысячи рублей? Я этого просто представить не могу. Вот мой сосед-пенсионер платит пятнадцать тысяч в месяц за лекарства. Он тоже работал – и хорошо заработал, а в деревне, например, там, где у меня дача, старики живут на пенсию

десять—двенадцать тысяч. Представляю, сколько людей впали в тяжелую депрессию. Я видел, как спивались. Хотя были и поводы для радости. Вот у нас в деревне возникла и дружба между соседями, и детский театр появился.

У всех по-разному, но это совершенно новое измерение, в котором мы еще не жили. Я смотрел на внука, которому шестнадцать лет, и мне было его жалко. Молодежи пришлось даже тяжелее, чем нам. Они же привыкли всюду носиться с друзьями, с девочками, – и вот все на изоляции, и разговаривать можно только через компьютер. Хотя, может, это будущее, черт его знает.

Меня часто спрашивают: каким будет телевидение и останется ли оно? Я пришел на ТВ, когда оно работало на пленке, а теперь у меня дома четыреста каналов – как такое можно было себе представить?! А что в будущем? Пять тысяч каналов? Это ужасно. Наверное, и из дома выходить не нужно.

– Я так понимаю, что телевизор у вас – не предмет мебели, как об этом сейчас модно говорить...

– Я обожаю смотреть спорт, и, кстати, за всю свою телекарьеру самыми потрясающими для меня были Олимпиады в Лондоне и Сочи, которые я вел для спортивного канала. В этом для меня был самый большой кайф, я наслаждался. Я не говорил о голах, очках и секундах, но общался с выдающимися тренерами, звездами балета, писателями, помешанными на спорте... От трех до пяти часов прямых эфиров ежедневно – я запомню это на всю жизнь.

– В интервью вы иногда ругаете современное телевидение, в том числе и за желтизну. Хотя в свое время именно вы стали делать ТВ более популярным, находили темы, на которые прежде не говорили, и показывали людей, которых в эфир не пускали...

– Это был наш главный принцип – показывать то, то было запрещено, хотя люди о многом знали. Мне как-то рассказывали, что в транспорте, обсуждая наши программы, кто-то говорил: «Вы слышали, он вчера сказал, что Сталин – палач?..» Как будто об

этом не знали. Но нельзя было сказать это с экрана. Или когда мы впервые показали трансляцию рождественской службы. Такого, конечно, в то время еще не показывали.

Но у нас никогда не было такой грязи, как сейчас. Мы не лазили под юбку и не изучали, сколько раз условная Шурыгина с кем переспала, кто гей, кто не гей... То, что сейчас происходит, просто чудовищно. Я много раз был в Европе, прожил год в Голландии и везде смотрел телевидение, но такой гадости нигде не видел. Это превращает людей в животных. Причем знаменитости, которые приходят на такие программы, – они уже самые отстойные, вне карьеры. Разве в такую гадость пойдет Анна Нетребко или Денис Мацуев? Пойдет только Джигурда или Шаляпин какой-нибудь.

– Вы, кстати, вели вместе с Ликой Крамер программу «Частная жизнь», где тоже обсуждались, скажем так, всякие светские темы...

– У нас никогда не было завидных рейтингов, потому что и Лика, и я хорошо воспитаны и не могли себе позволить чего-нибудь неприличного. Я тогда понял, до чего доведена страна. Как-то мы позвали в студию американскую корреспондентку, которая работала в Москве. Когда у этой женщины выявили рак, она собрала свою группу и начала себя снимать. В кадр попали все стадии ее борьбы с раком, и в конце концов она победила болезнь. И вот она была героиней программы, а в студии сидели люди, которые тоже победили рак. После программы мне показали рейтинги: вначале доля высокая, а через пять минут разговоров о раке рейтинг падает практически до нуля. Все домохозяйки сразу отключились, они не хотели это слушать. Вот Джигурда или Шаляпин со своим очередным браком с какой-нибудь старухой – другое дело.

– Так уж получается, что обывателей всегда интересуют то, о чем спрашивать не очень прилично. Ваш хороший друг Урмас Отт в свое время интересовался, сколько звезды зарабатывают...

– Обычно это был его последний вопрос в интервью, и за благородный эстонский акцент ему прощали все что угодно. Помню, был период, когда и он, и я работали еще на старом Rep-TV, и Урмас прилетал записывать программы. У нас был потрясающий этаж. Только Ирена Лесневская могла придумать такое телевидение. Два кабинета Эльдара Рязанова, потом Леня Филатов, Миша Горин, Саша Арканов, Юрий Никулин, Юра Рост – и мои два кабинета. И вот я звал Урмаса к себе после записи, предлагал ему коньячку, мы очень мило общались.

Я как-то сказал, что знаю один анекдот про эстонцев, и он как умный человек не обидится. «Конечно», – сказал Урмас. И я рассказал. Про то, как отец и двое сыновей идут через лес к хутору, и какой-то зверек перебегает дорожку. Долгая пауза. Старший сын говорит: «Это была собака». Еще одна долгая пауза. Младший: «Нет, это была лисица». И уже на подходе к дому отец говорит: «Хватит спорить, горячие эстонские парни». Урмас с полминуты на меня внимательно смотрел и потом спросил: «И что?» Здесь мне нужно было сдержаться от хохота. Я очень люблю это время, и работать с Иреной было потрясающе – мне нравилось даже больше, чем в «До и после полуночи».

– Но на всю страну вы прославились именно с этой передачей...

– Это был старт и зарабатывание репутации, которую, кстати, можно легко потерять. Я студентам всегда говорю: «Вы можете десять лет зарабатывать хорошую репутацию, но несколько неаккуратных слов – и вы ее потеряете». Именно так случилось с некоторыми людьми, которые неудачно выступили во время путча, и их потом лет двадцать никуда не брали.

– «До и после полуночи» – это своего рода легенда. Программа вышла в 1987 году, когда телевидением управляли поистине пуленепробиваемые люди, и всюду была многоступенчатая цензура. Вам невероятно повезло, что такое вообще получилось выпустить в эфир?

– Я пришел на телевидение 3 января 1987 года. Через две недели

я сделал первый комментарий в эфире дневных новостей. Потом появились планы сделать утреннюю программу. Мы начали репетировать, и все получалось довольно симпатично: новости, музыка, погода и так далее. Но приехали люди из Агитпропа (отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС. – «МК»), жуткой организации, в которой работали какие-то серые личности. Они посмотрели нашу репетицию и сказали, что такая программа советскому человеку не нужна. И ушли. Все мы, конечно, очень расстроились, но начальство решило не сдаваться и предложило попробовать сделать ночную программу. И через неделю, в ночь с 7 на 8 марта, мы вышли в эфир. Как такое получилось, мне до сих пор непонятно. Мы просто сели и начали придумывать.

Я сразу вспомнил про Андрюшу Миронова, у которого 8 марта – день рождения. Мы с ним были очень хорошо знакомы, потому что, когда я работал в Голландии, он у меня несколько дней жил. Помню, вместе ходили на джазовый фестиваль по одному билету. И Андрей сразу согласился на интервью, даже билет на ночной поезд в Питер поменял, потому что был прямой эфир. И так пошло, и люди сразу смотреть стали, хотя обычно в это время уже все спали.

Мы очень быстро поняли, что эта программа – не просто шанс показать группу Status Quo или Рэя Чарльза, но и попробовать говорить о чем-то, о чем еще на телевидении не говорили. Так у нас появился русский эмигрант, который произнес знаменитую фразу: «Это же ваши большевички с Лениным виноваты». На следующий день ко мне в «Останкино» подошла Алла Пугачева и сказала, что вид у меня в тот момент был такой, будто я вот-вот в обморок упаду.

– Наверное, и у начальства был такой же вид, когда они это увидели. Запросто могли прикрыть ваш рупор гласности...

– Нам играло на руку то, что там, наверху, они друг друга ненавидели. Был лагерь, который нас терпеть не мог, но были и те, кто нам всячески симпатизировали. Симпатия исходила от Александра Николаевича Яковлева, от Шеварднадзе, от людей из

Международного отдела ЦК. В итоге нам удалось рассказать о том, что коснулось миллионов, – о русской эмиграции, о красном терроре. Это история и моей семьи. Мой дед был расстрелян, бабушка отправлена в ссылку...

И, конечно, музыка. У нас была премьера «Паромщика» Пугачевой, когда эту песню запрещали на телевидении: какой-то идиот сказал, что она про Солженицына. А про песню «Крысолов», которую мы тоже поставили в эфир, думали, будто она про Горбачева. Помню, после того, как в финале первой программы мы показали клип на песню «We are the world» со всеми западными звездами, Борис Гребенщиков мне сказал: «Я когда это увидел, то подумал, что в стране переворот...»

– Как к вам попадали всякие крутые иностранные клипы?

– Все это было в «Останкино», новинки регулярно присылались. Но никто ничего не брал, потому что показывать такое вроде как нельзя. А наш музыкальный редактор Володя Давыденко знал, где какие рулоны лежат, и приносил то Синатру, то Лайзу Миннелли. А потом еще «предателей» стали показывать: Барышникова, Нуриева...

Я был хорошо знаком со многими собкорами в Европе и как-то позвонил в Париж Сереже Иезуитову и сказал: «Старик, говорят, ты там с Йоко Оно дружишь, вино с ней пьешь». А он действительно был с ней знаком и регулярно общался. Я попросил сделать сюжет про нее минут на пятнадцать. Он говорит: «Ты с ума сошел? Кто же такое покажет?!» Но я его уговорил, и вся страна смотрела и плакала. Потом Сергей уже стал сам интересоваться: может, сделать что-то о варьете «Фоли Бержер» и так далее. И после сюжетов в духе «в Париже светит солнце, но французским рабочим от этого невесело» собкоры наконец смогли показать то, что раньше никогда не показывали.

– В то время новые лица перестроечного телевидения находили в основном в международной редакции. Как вы думаете, почему все происходило именно так?

– Просто те, кто работал в этой редакции, были гораздо лучше образованы, знали языки. Я писал для западных изданий, у меня выходили колонки в Голландии и Финляндии. И писали мы не так тупо, как было принято здесь: «миролюбивая власть Советов», «великий Леонид Ильич» и так далее. Мы были за границей, знали, что происходит в мире. Я сам в Голландии выступал на телевидении и понимал, как там все устроено. Например, когда ты берешь интервью на иностранном телевидении и говоришь своему герою – голландцу, американцу или англичанину, – что у него три минуты, то он укладывается в 2.57. У нас же приходится рубить человека на восьмой минуте.

– Кроме телепрограмм вы сняли немалое количество документальных фильмов, среди которых есть и те, что не дошли до российских экранов. Например, фильм для избирательной кампании Юлии Тимошенко...

– Это не совсем телевидение – скорее мои левые дела. Мне иногда заказывали такие проекты, от многих я отказался, но что-то снял. Например, фильм для предвыборной программы Аскара Акаева. Мне важно было, чтобы что-то меня привлекало в человеке, о котором я снимаю. В Акаеве меня привлекало то, что он блестящий математик, проработавший много лет в крупнейшем математическом институте. А Юлька мне нравилась как женщина. Я с самого начала сказал, что снимаю фильм о красивой и умной женщине. И меня совершенно не интересовало, выберут ее или нет.

– Многие называли карьеру Тимошенко началом эры феминизма в постсоветской политике. Раньше такое даже представить было трудно...

– В Прибалтике этот процесс пошел, и там во власти очень много женщин. У нас – тяжелее. Вот в Белоруссии этот негодяй просто никуда женщин не пускает. Но движение все же есть. Наверное, началось все с литературы. Сейчас многие фильмы снимают по произведениям, которые написали женщины: Устинова, Полякова... – мужики как будто перестали книги писать. Я очень хочу, чтобы

во власти у нас были женщины. Они по-другому все воспринимают, не так, как это скопище мужиков, которые думают только о своей выгоде. Но при моей жизни здесь этого не наступит.

– Но в вашей семье женское влияние – это реальность. Вы человек с большим опытом наблюдения за западной жизнью, у жены испанские корни. У вас, наверное, все как в образцовой европейской семье. Никакого старорежимного Домостроя...

– Наверное, так и есть. Мы уже очень давно вместе. В сентябре был 51 год, как поженились. На свадебной фотографии совсем дети, нам по восемнадцать лет... Мы с женой разные. У нее техническая семья, у меня – музыкальная, жена лучше меня образована. Я много читаю и делаю это очень быстро, а она – более серьезно. Я, может быть, лучше пишу, но она прекрасно видит, где я фальшивлю. Она лучше меня монтирует, хотя я обожаю монтажи. На телевидении рядом с ведущим обязательно должны быть люди, способные честно сказать, что он дурак. До восемнадцати лет меня воспитывала сестра, и когда я начал работать на телевидении, она часто говорила: «Боюсь, они наконец поймут, что ты полный болван». А последние двадцать пять лет я все свои фильмы снимал вместе с женой.

– На пике популярности «До и после полуночи» вам, наверное, приходили тонны писем, в которых помимо всего прочего сообщалось, что вы – отец детей из разных уголков Советского Союза. Как жена на это реагировала?

– Абсолютно спокойно. Если кто-то, работая на телевидении, теряет самоиронию, то это конец, это Дональд Трамп. А письма и правда приходили. Аллочка Черкасова, моя ассистентка, которая недавно, к сожалению, ушла из жизни, читала все эти письма и иногда отвечала на них. Как-то она ворвалась в кабинет и спросила: «Ты был в Комсомольске-на-Амуре?» Я ответил, что не был. И Аллочка с возмущением сказала, что женщина, которая на тридцать пять лет меня младше, пишет, будто у нас с ней растет сын, и денег на его воспитание не хватает...

– Какие у вас сейчас отношения с телевидением?

– Практически никакие. Я уже три года ничего не снимаю и не хожу ни в какие программы – разве что кто-то из друзей попросит. Например, Юрий Рост или Максим Галкин: он же у меня в эфире дебютировал, когда ему еще и двадцати не было. А от всяких ток-шоу категорически отказываюсь. Есть одна программа, от участия в которой отказался – я веду счет – сорок восемь раз.

У меня прекрасная теплая дача, там две тысячи томов книжек, и если с ними залечь на диван, да и еще смотреть «Однажды в Америке» или хороший матч «Барселоны», то можно и не встать. Но мне нужно что-то делать. Вот недавно, сдав анализ на COVID, провел в Международном Доме музыки премию Ани Политковской. Там в зале, прямо в креслах, установили большие фотографии убитых журналистов и правозащитников. Их набралось более трехсот. Я когда это увидел, то был в шоке, несмотря на весь свой телевизионный цинизм. Не ожидал, что за двадцать пять лет погибло столько людей из этих сфер. Мы с Аней Политковской очень много общались, а убили ее 7 октября, прямо на мой день рождения. Никогда не любил праздновать дни рождения, а с тех пор не люблю еще больше.

– Примеров, когда телеведущие остаются в кадре долгие годы, не так много, но они есть. Вы когда-нибудь стремились к такому профессиональному долголетию, как у Владимира Познера, например?

– Я вообще в кадре работать не люблю, мне больше нравится документалистика. Когда я начинал работать в новостях, то очень боялся. Мама-актриса мне как-то посоветовала перед эфиром прикусить кончик языка. Я так и сделал в программе «Время», но у меня кровь хлынула. Хорошо режиссер успел перевести камеру на дикторшу, пока я отплевывался кровью. Я очень долго побаивался: как это так, один в студии, стоят две камеры, и тебя все слышат и видят... Потом, конечно, прошло. А если речь о Познере, то меня восхищает, что все лучшее у него

случилось уже после семидесяти лет, когда он поехал снимать фильмы по Америке и Европе. Но, конечно, нужно было суметь взять Урганта в качестве шофера.

Илья Легостаев